

[ОТРЫВОК: «КОГДА СТРАНА ИЛИ ОБЩЕСТВО»]

НЕЗАКОНЧЕННАЯ СТАТЬЯ ЩЕДРИНА КОНЦА 70-х ГОДОВ

Предисловие С. Белевицкого

Публикация Н. Яковлева

ЩЕДРИН — КРИТИК САМОДЕРЖАВИЯ

Кто истинный наследник Щедрина?

На поставленный вопрос давались различные ответы. Само собою разумеется, что первыми претендентами на право наследования Щедрина выступали наши народники. Право это им казалось неоспоримым: Щедрин по своим литературным связям и политическим симпатиям, равно как по своему социальному тяготению к крестьянству, как будто на самом деле принадлежит к народническому направлению.

Однако должны ли мы на указанном основании зачислить Щедрина по разряду «правверных» народников, того типа правверных народников, которые с середины 80-х годов начинают свой бесславный, кончившийся для них крахом поход против русских «учеников»? Можем ли мы Щедрина сделать ответственным «за романтические и мелкобуржуазные прибавки к наследству со стороны народников?» (Ленин).

Необходимо прежде всего отметить, что сам Щедрин как писатель несомненно давал известные основания для недоразумений при ответе на этот вопрос. Дело в том, что Щедрин имеет кое-что общее с Глебом Успенским. У обоих мы имеем разрыв между традиционным, воспринятым от окружающей среды и обусловленным принадлежностью художника к той или иной классовой группировке (в данном случае — к группе так называемой разночинной интеллигенции), мировоззрением и мироощущением, — разрыв, на который справедливо указал Плеханов в статье о Глебе Успенском.

Воспринятое от окружающей художника идеологической среды мировоззрение, к влиянию которого присоединялись такие объективные моменты, как отсталость российского капитализма и незрелость русского рабочего класса, обусловили то, что Щедрин, как и Глеб Успенский, не видел прогрессивной роли развивающегося капитализма и не мог оценить эту роль с точки зрения интересов пролетариата и его победоносной борьбы за социализм. И недоучет именно этого момента, который Ленин считает решающим в споре между народниками и марксистами, привел к тому, что в самой постановке вопроса о значении литературного наследства великого сатирика для пролетариата России мы встречаемся с рядом неясностей и с недостаточной марксистской четкостью.

На основании тех неоспоримых данных, которые мы имеем в литературном наследстве Щедрина, мы можем без всяких преувеличений сказать, что это наследство представляет для русского пролетариата огромную ценность. Литературное наследство Щедрина представляет собою одну из наиболее значимых и значительных частей того наследства, от которого мы «не отказываемся», ибо к этой части наследства мы можем с полным основанием применить тот критерий, который Ленин применил к сочувственно

цитируемым им представителям радикально-демократической интеллигенции 60-х годов. Основным ленинским критерием для положительной оценки литературных работ некоторых представителей радикально-демократической интеллигенции 60-х годов является их внимательное отношение к окружающей социально-экономической действительности, трезвый учет реальных сдвигов, происшедших в ней. Выступление на авансцену российской экономики представителя капиталистического накопления — вот одна из основных тем социально-экономической публицистики 60-х годов. Этот трезвый учет фактов и отношений реальной российской действительности характерен и для Щедрина, и не меньшее место, чем в публицистике 60-х годов, в творческой тематике его занимает тема о пришествии «чумазого».

При этом, в отличие от последующего правоверного народничества и в согласии с представителями радикальной демократической интеллигенции 60-х годов, Салтыков очень далек от идеализации «устоев», у него совершенно отсутствует романтическое отношение к русской общине и ко всем прочим излюбленным народниками формам «коллективного народного труда» вроде артели и пр.

Писатель революционной демократии Щедрин в своей конкретной критике не склонен также и к идеализации интеллигенции как внеклассовой группы, хотя в своих «программных» определениях общественного положения и роли литературы и литератора, наличие элементов такой идеализации несомненно. Михайловский, как известно, определял интеллигента как человека, «мысль и сердце которого с народом». Щедрин же прекрасно видел существующую внутри этой социальной группы дифференциацию. Пользуясь словами Ленина, можно смело утверждать, что Щедрин — по-своему, конечно, а не как марксист — в отличие от современных ему народников, отнюдь не игнорировал связи интеллигенции и «юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов». И это опять-таки сближает его с радикальными демократами 60-х годов, от наследства которых мы, марксисты, не отказываемся. По своему мировоззрению Щедрин ближе всего стоит к нашим «просветителям» 60-х годов.

Одна из наиболее характерных особенностей просветительства заключается в том, что оно окрашивает мировоззрение идеолога в дуалистический цвет, при чем самим идеологом этот дуализм не осознается. Это значит, что дуализм просветителя не принципиально-философский, а скрытый, неосознанный. В мировоззрении просветителя преобладают элементы реализма, но имеется также и значительная примесь утопизма. В основном просветительское мировоззрение материалистично, но одновременно мировоззрение просветителя несвободно и от идеалистических элементов.

Просветитель — рационалист: он верит в самостоятельную, независимую от материальных условий силу разума, «идей», но вместе с тем просветитель отчетливо видит и подчас склонен даже преувеличивать роль «среды». Особенность просветителя в данном случае состоит в том, что он не отдает себе отчета в диалектике взаимоотношения «идей» и «среды». Отсюда и еще одна черта просветительского мировоззрения: оно густо окрашено в пессимистический тон, ибо просветитель, в силу недialeктичности своего мышления, не видит реального выхода из конфликта между идеей и средой.

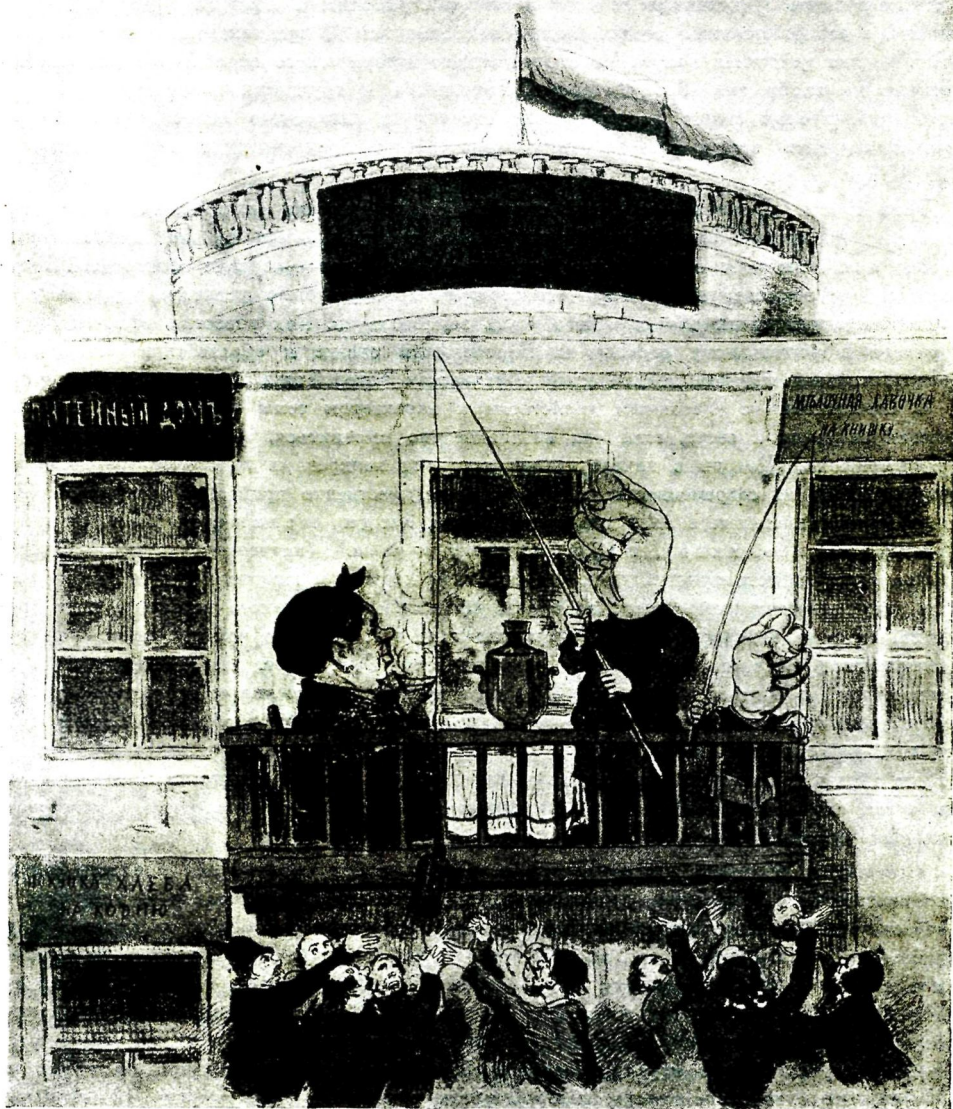
То же самое приходится констатировать и относительно оценки просветителем «роли личности в истории». Просветитель не склонен преувеличивать эту роль; подчас он даже склонен к выводу о доминирующей роли среды и трактовке личности как «ничтожной величины», но подлинно диалектического взаимоотношения личности и среды просветитель до конца постигнуть не может. И тут мы вновь столкнемся с просветительским пессимизмом как результатом неумения найти соответствующего данным конкретным социальным условиям разрешения противоречия между личностью и социальной средой.

И наконец — это особенно следует подчеркнуть — в мировоззрении просветителя остается неразрешенным противоречие конкретного и абстрактного.

С точки зрения указанной характеристики особенностей просветительского мировоззрения мы намерены подойти к анализу публикуемой статьи Щедрина.

ДЕРЕВЕНСКИЙ РЫБОЛОВЪ.

Рисун. В. И. Порфирьева — Тема Л. и Б.



КАРИКАТУРА НА МОТИВ «УБЕЖИЩЕ МОНРЕПО» ЩЕДРИНА

Рисунок В. Порфирьева в «Осколках» 1883 г., № 27

Для расшифровки основного замысла публикуемой статьи Щедрина и тематически и композиционно связанного с ней беллетристического очерка необходим тщательный анализ текста. В тщательном анализе нуждается каждый образ сатирика, каждое положение. Необходимо проникнуть за завесу из символических образов-обобщений, как «баловень фортуны», «непомнящий родства», «льстец-мститель», таких понятий, как трепет, вероломство, стыд, «пролезть», «шарахаться» и т. д. Необходимо далее преодолеть преграду к пониманию основного замысла сатирика, образуемую щедринским «эзопизмом». Раскрытию основного замысла мешает также многосмысленность, неоднозначность щедринских образов и понятий. Образы и понятия Щедрина символичны, а содержательный символ всегда многосмыслен. В щедринском символе заключена подчас целостная концепция определенного исторического периода и одновременно отклик на злобу дня. Все указанные особенности и трудности полностью относятся и к публикуемой статье, но некоторым ключом к раскрытию ее основного смысла может служить предположительное хронологическое приурочивание ее написания к 1878/79 г.

Тема статьи Щедрина — с одной стороны, характеристика российской политической системы, философия самодержавия как целого, с другой — отклик на политическую злобу дня. Речь идет о последних двух годах 70-х годов — периоде обостренной политической и общественной реакции, ответом на которую было усиление террористических тенденций среди определенного круга землевольцев. Как известно, эти тенденции привели к формальному расколу на Воронежском съезде и образованию «Народной воли», основным методом политической деятельности которой стал индивидуальный террор.

В соответствии с указанным двойственным характером темы — современная политическая ситуация в свете, если так позволительно выразиться, философии российского самодержавия, Щедрин в начале статьи дает ряд конкретных признаков, определенно указывающих на современность: «К лести преимущественно прибегают или пронирыльные люди (чиновники в виду вакантного места, люди, желающие попасть на службу к Полякову, Варшавскому и т. д.) (подчеркнуто мною. — С. Б.) или... люди до того пристигнутые, что под игом невзгод и животолубия сделали как бы умалишенными (литераторы, либералы, чиновники контрольного ведомства в те времена, когда их подозревали в конституционализме и т. д.)», при чем последние — недвусмысленный намек на общественную реакцию конца 70-х годов. Но от характеристики современной политической ситуации Щедрин в процессе обобщения ее признаков доходит до первого символического олицетворения самодержавной власти в образе «баловня фортуны», равносильном, по выражению сатирика, образу «непомнящего родства»... Смысл этого образа заключается в том, что при самодержавии власть, как правило, оказывается в руках случайного человека, не связанного ни с историческим прошлым общества, ни с его современностью.

Совершенно очевидно, что случайный человек, случайно «пролезший» к власти, ничем не связанный с обществом, над которым он властвует, думает только о «пироге», и «обеспеченность или необеспеченность» пирога «регулирует все его действия». Случайный человек — этот «баловень фортуны» или «непомнящий родства» — не приходит к власти тем естественным путем, каким приходит человек, выдвинутый определенными общественными потребностями и призванный в силу своих индивидуальных особенностей и склонностей эти потребности удовлетворять. Он, этот «баловень фортуны», — представитель иерархически построенной касты, изолированной от общества. И все, что с ним происходит, разыгрывается в пределах этой касты: он случайно «выскакивает» или «пролезает» и также случайно «шарахается». Но случайность здесь — форма проявления необходимости. Необходимость же «выскакивания» и «шарахания» определяется внутренней структурой системы, которая при всех внешних изменениях остается неизменной.

Случайна и безобразна не только форма прихода к власти и ухода от нее, но и форма ее проявления: «жежи он [баловень фортуны] чувствует обладание пирогом обеспеченным — он добр, весел и охотно бросает псам крохи с своего стола. Если он

чувствует себя необеспеченным в этом смысле, он суров и жесток». В этой мастерской мотивировке различных настроений своего «героя» Салтыков сумел сочетать обобщенную характеристику самодержавия как политической системы с конкретным намеком на резкие колебания в политике Александра II — от «либеральных» реформ первых лет царствования к мрачной реакции, начало которой было положено выстрелом Каракозова, реакции, дошедшей до апогея в последние годы царствования «освободителя».

При такой структуре самодержавной власти между нижестоящими на иерархической лестнице и вышестоящими с совершенной неизбежностью устанавливаются нелепые с точки зрения здорового морального чувства формы отношений: вышестоящего необходимо умилять, добиться его милостивого расположения. Это возможно лишь с помощью лести, воскурения фимиама.

Если оставаться в пределах властвующей касты, то история самодержавия представляет собой пошлую, однообразную картину смены «баловней фортуны». А там, где доминирующей чертой происходящего является пошлость, нет места для трагического. Во всяком случае, «если и бывают несчастья вроде умертвия (намек на дворцовые перевороты.— С. Б.), то они происходят за кулисами».

Если же выйти за пределы властвующей касты, то мы прежде всего сталкиваемся с чиновничеством — людским составом сложной бюрократической машины самодержавия. Этот людской состав в подавляющем большинстве состоит из лгуних «льстецов». Всю же остальную массу населения самодержавного государства Салтыков обозначает термином «прикосновенные». Прикосновенные — это те, «которые горьким насилием судьбы поставлены в соприкосновение с нею» (с бюрократической атмосферой лести и лганья.— С. Б.).

Есть ли основание надеяться, на какие-нибудь изменения политической системы, исходя из расчета на ее внутреннюю эволюцию? Речь идет о том, в какой мере основательны упования либералов-постепеновцев и российских оппортунистов всяких мастей на то, что самодержавие, приспосабливаясь к потребностям страны или просто из инстинкта самосохранения, вынуждено будет само, без толчка извне, такую эволюцию проделать. На этот счет у трезвого писателя революционной демократии Щедрина никаких иллюзий нет. «Чувствуется, что среда эта (т. е. все общество в целом.— С. Б.) насквозь прстгнила, и фундамент, и стены, и что в этой насыщенной лганьем атмосфере непременно должны задохнуться не только сами лгуны, но и те, которые горьким насилием судьбы поставлены в соприкосновение с нею». Радикальным выходом из положения могла бы быть только «народная революция». Но Щедрина конца 70-х годов революция в российских условиях представлялась лишь в форме ее бакунистско-анархистской концепции, для обозначения которой наш сатирик употребляет библейский образ «светопреставление». Такую революцию Салтыков находит «несправедливой», ибо «светопреставление» — это такой «акт, который прикроет развалинами и льстецов, и баловней фортуны, и прикосновенных людей».

Где же выход из положения? Прежде чем указать выход, необходимо определить само положение, найти его конститутивный признак. И сатирик этот признак находит.

Перед нами смертельно больное общество. В чем причина болезней? Она — эта причина — в том, что «страна или общество слишком продолжительное время преобразуют собою осиновую рощу, в которой ничего не слышно, кроме шума и трепета». На «омерзительные» явления российской политической системы страна, общество реагируют только одним чувством — «трепетом». «Продолжительная трепетальная практика» привела к атрофии у российского обывателя — «прикосновенного» человека — всех человеческих чувств, кроме одного — страха, внешним проявлением которого являются «лесть» и «вероломство». И выходом из положения, противоядием для больного чувством страха общественного организма может быть только возникновение новых реакций. Этой новой реакцией-противоядием, по мнению сатирика, может быть чувство стыда. «Стыд» — как противоядие страха.

Подавленное чувством страха общество свое отношение к происходящим политическим переменам, которые в конечном счете сводятся к перемене лиц, но не изменению самой

системы, проявляет ликованием по поводу падения того или иного носителя власти. Сатирик в смене лиц не видит никакого основания для «посторонних», т. е. для широких масс общества, ликовать. Больше того: «ликование по поводу падения непомнящего родства, на смену которому грядет другой непомнящий родства,—помилуйте! неужто это прилично? Нет, это в высшей степени неприлично и даже постыдно. Постыдно не только участвовать в ликованиях, но даже быть свидетелем их».

Но зато «как скоро в обществе пробужден стыд, так немедленно появляется потребность действовать и поступать так, чтобы не было стыдно... Стыд есть драгоценнейшая способность человека ставить свои поступки в соответствие с требованием той высшей совести, которая завещана историей человечества».

Сопоставляя только что приведенную цитату с заключительным абзацем публикуемой статьи Щедрина, нам кажется возможным высказать одно соображение насчет того, какое политическое содержание сатирик вкладывает в понятие «стыд».

Если принять во внимание хронологическое приурочение статьи Щедрина к 1878/79 г., то в ней нельзя не увидеть отклика сатирика на политические контраверзы в лагере землевольцев между «пропагандистами» и «террористами».

Щедрин здесь определенно становится на сторону «пропагандистов». В заключительном абзаце статьи автор подчеркивает, что «стыд—это своего рода учение, это целая система». Автор наирает на необходимость «вызвать к стыду, будить стыд, пропагандировать» (подчеркнуто мною.—С. Б.), что лезть вредно, а вероломство паскудно». При этом совершенно очевидно, что термины «лесть» и «вероломство» являются «эзопизмами» — для обмана цензуры. Под этими терминами сатирик понимает политическую систему самодержавия, вуалируя свою мысль тем, что вместо системы берет внешние формы ее проявления, при чем такие формы, которые осуждаются или по крайней мере должны осуждаться не с точки зрения каких-нибудь особых, необычных моральных принципов, а с точки зрения обыденного здорового нравственного сознания, таких элементарных моральных понятий, как стыд и совесть. Впрочем сам сатирик свою мысль расшифровывает достаточно прозрачно: автор находит нужным призывать к стыду, а не проповедывать новое учение, потому что «в учении могут быть замечены разного рода внезапности, которые могут дать ретирадникам (т. е. реакционерам.—С. Б.) повод для подсиживаний, а в стыде никаких так называемых превратных толкований и днем с огнем отыскать нельзя».

Косвенным подтверждением высказанного соображения может служить красной нитью проходящая через всю статью мысль о том, что смена лиц не может привести к изменению системы. И тут сказывается двухплановость и неоднозначность образов и терминов, которыми оперирует Щедрин. При этом двухплановость, неоднозначность, с одной стороны, являются результатом конденсированной обобщенности символического образа, с другой — такой характер образа оказывается удобным средством завуалировать революционный, «нелегальный» замысел. В публикуемой статье крайняя степень обобщенности образов, их символичность дает возможность постоянного смещения планов исторического прошлого и текущего момента современности.

* * *

Предыдущий анализ статьи Щедрина уже дает нам кажется некоторые основания для подтверждения нашей мысли о том, что социально-политические воззрения его должны быть в общем охарактеризованы, с одной стороны, как «просветительские», весьма близкие к воззрениям Чернышевского, с другой — как в ряде основных признаков расходящиеся с социально-политическими воззрениями правого народничества.

Характерная особенность социально-политических воззрений Щедрина, если исходить из того, что дает нам анализ данной статьи, заключается в том, что характеристику политической системы он дает в отрыве от классовой дифференциации общества, абстрагируясь от сложной картины классовых взаимоотношений и классовой борьбы. Благодаря этому картина политических взаимоотношений, несмотря на красочность и художественную законченность, носит абстрактный и статичный характер. Получается

впечатление изолированной от конкретной социальной действительности, неподвижной картины политической системы.

С нашей точки зрения указанный характер изображенной Щедриным политической системы самодержавия — не случайность и не только прием сгущения, как таковой. Этот прием обусловлен просветительским мировоззрением художника.

Не случайным с этой точки зрения оказывается и понимание сатириком проблемы революции. В представлении просветителя социальные взаимоотношения стражаются в своей статичной законченности. Просветитель за каждой данной картиной классовых взаимоотношений не видит движущих сил исторического процесса. Поэтому революция мыслится им в форме катастрофы, «светопрествавления», исторической Немезиды, сметающей на своем пути все, карающей, не разбирая правых и виноватых. Но это отнюдь не значит, что просветитель — не революционер. Просветитель — несомненно революционер. И не только в политическом смысле, но и в социальном. Он не только за радикальное изменение политической системы, значение которой он, в отличие от правого народника, прекрасно понимает, но и за коренную перестройку социальных отношений, за уничтожение эксплуатации человека человеком. (Речь конечно идет не о просветителе «вообще», какового в природе нет, а о конкретном просветителе Щедрина).

Но отвергая революцию в ее бакунистской трактовке и будучи одновременно смертельным врагом существующего социально-политического строя, Щедрин — просветитель в отношении революции — становится на позицию «пропагандиста», позицию, которая, применительно к историческим условиям момента, заключает в себе ряд идеалистическо-утопических моментов. Основной заключительный вывод статьи, что надо приывать к стыду, будить совесть, — просветительски абстрактен и идеалистичен.

И все же, несмотря на все указанные особенности своего мировоззрения, Щедрин — наш, и его творчество принадлежит к ценному для пролетариата наследию. Творчество Щедрина испытало на себе в ряду других и влияние великих творений таких социалистов-утопистов прошлого, как Сен-Симон и Фурье, которых так высоко ценили Маркс и Энгельс и произведения которых Ленин считал одним из источников марксизма.

Значение наследия классиков утопического социализма и нашего сатирика заключается не в положительной части их утопических построений, слабость которых в свете научного мировоззрения Маркса-Энгельса-Ленина для нас совершенно ясна. Сила великих утопистов заключается в их последовательной, не допускающей никаких компромиссов критике существующего социально-политического строя радикального его отрицания. Щедрина, как и его великих предшественников и учителей — Фурье и др., совершенно чужд был дух оппортунизма и пессимизма, характерный для старого меньшевизма и эсеровского народничества, выродившийся в современном социал-фашизме в открытое пособничество своей национальной буржуазии и в не менее открытое предательство интересов пролетариата.

* * *

Рукопись отрывка, начинающегося словами «Когда страна или общество...», сохранилась в архиве М. М. Стасюлевича в ИРЛИ Академии Наук. Почерк и бумага позволяют датировать рукопись концом 70-х годов. То же подтверждает и анализ содержания отрывка. Он чрезвычайно близко примыкает ко второй части незаконченной статьи, начинающейся словами: «Говоря по правде, положение русского литератора...» Статья эта также публикуется в настоящей книге (см. стр. 344). В обоих текстах развивается тема «лести» и фигурирует «баловень фортуны» в совершенно одинаковом значении. В очерке «Когда страна или общество» содержится кроме того образ «непомнящего родства», а этот образ в таком же значении повторяется в цикле «За рубежом» (глава II), 1880 г.

[ОТРЫВОК: «КОГДА СТРАНА ИЛИ ОБЩЕСТВО»]

Когда страна или общество слишком продолжительное время преобразует собой осиновую рощу, в которой ничего не слышно, кроме шума [и] гребета, то из этого возникает два одинаково нежелательных последствия*. Во-первых, распложается великое множество льстецов и, во-вторых, поселяется в обществе наклонность к вероломству.

О льстецах писано довольно. К лести преимущественно прибегают или пронырливые люди (чиновники, в виду вакантного места люди, желающие попасть на службу к Полякову, Варшавскому и т. д.) или лакомки (приживальщицы, рассказчики сцен из народного быта и т. п.) или, наконец, люди до того пристегнутые, что под игом невзгод и животолубия сделались как бы умалишенными (литераторы, либералы, чиновники контрольного ведомства в те времена, когда их подозревали в конституционализме и т. д.). Обыкновенно льстят грубо и неумно, да иначе, впрочем, и нельзя. Чтобы лесть имела право назваться умной, необходимо, чтоб она совпадала с истиною, но тогда уже, очевидно, она перестает быть лестью. Поэтому, лесть глупа и незатейлива в самом существе своем и нет ничего легче, как распознать ее. Так, например, человеку, которому говорят, что он красавец, стоит посмотреться в зеркало, чтоб убедиться, что это ложь; человеку, которому говорят, что он мудрец, стоит только припомнить, как он сейчас только что был глуп, чтобы понять, что дверь премудрости и в будущем закрыта для него навсегда. Но на счастье льстецов объектом их льстивых слов обыкновенно служит так называемый «баловень фортуны», т. е. человек или вполне глупый или вполне ошалевший от счастья. Поэтому грубая лесть ему как нельзя больше впору. Он сидит, хлопает ушами и млеет.

Хотя лесть сама по себе равносильна пошлости, тем не менее она не исключает и примет трагических элементов. Но трагедия здесь изменяет свой центр, смотря по тому, какие действующие лица занимают сцену. Ежели льстят чиновники, жаждущие мест, или рассказчики сцен из народного быта, то трагизм следует искать не в них (они плавают тут, как рыба в воде), а в той среде, которая порождает подобные явления. Чувствуется, что среда эта насквозь прогнила, и фундамент и стены, и что в этой насыщенной лганьем атмосфере непременно должны задохнуться не только сами лгущие, но и те, которые горьким насильем судьбы поставлены в соприкосновение с нею. Трагедия тем более мрачная, что обыкновенно она не имеет конца. Лгущие процветают, прикосновенные мечутся в тоске — вот и все. Развязкой может быть только светопреставление, т. е. акт, который прикроет развалинами и льстецов и баловней фортуны и прикосновенных людей. Справедливо ли это? Но когда льстят литераторы и контрольные чины, тогда таргизм сосредоточивается по преимуществу около них. Какое лютое горе присигло этих людей? Какая масса страхов скопилась над ними? Что разбудило в них с такой силой инстинкты животолубия? и какой род смерти они изберут впоследствии, когда очнутся и припомнят? Отомстят ли они хоть в отдаленном времени или без дальних слов покорятся? Ясно, что эти вопросы могут быть разрешены только в смысле трагедии.

Но трагическое в пределах исключительно лести редко всплывает наружу. Во-первых, драматический сценарий здесь сочиняется [и] направляется «баловнями фортуны», которые очень охотно ликуют и вовсе не желают огорчаться. Поэтому ежели и случаются в течение представления

* Первоначально: «продолжительная трепетальная практика производит два одинаково омерзительных явления». [Ред.]

какие-нибудь несчастья вроде умертвия, то они происходят за кулисами. Во-вторых, лесь вообще вынослива. Она долго терпит и до последней крайности воздерживается от трагедий, ибо знает, что впереди у нее имеется всегда готовый трагический выход—в вероломство. Только «баловни фортуны», т. е. объекты лести, и направители представления



ДЮ-ШАРИО, ВИКОНТ, АНГЕЛ ДОРОФЕЕВИЧ, ФРАНЦУЗСКИЙ ВЫХОДЕЦ
«Любил ридиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении оказался девицею. Выслан в 1821 г. за границу»

Рисунок А. Радакова из альбома «Портретная галлерея градоначальников, в разное время в г. Глухов от высшего начальства поставленных (1731—1826 по Щедрину, и 1826—1907 не по Щедрину)». П., 1907 г.

этого не понимают и не предвидят. И это очень удобно, ибо если б они предвидели, то могли бы подготовиться и наслаждаться без конца. И тогда где же была бы справедливость? Но эта самая непредусмотрительность, давая меру глупости и ошалелости «баловней фортуны», служит объяснением, почему

Уже столько раз твердили миру,

Что лесь гнусна, вредна — и все не в прок...

Не в прок потому, что лезть сладка, а вероломство, стоит где-то за горами. Во всяком случае несомненно одно: что о льстецах писано много и бесплодно. О вероломстве же, как об язве, в известные исторические моменты точащей общество, писано до такой степени мало, что его даже почти не принимают в расчет. А его непременно надобно принимать в расчет, ибо без этого немыслимо общественное оздоровление.

Итак: трепетательная практика родит лезть, а лезть родит вероломство. Вот краткая генеалогия той нравственной смуты, которая от времени до времени омрачает страницы истории. Всему корень — трепет; за ним следует лезть, то-есть изыскание способов, дабы и среди трепетательной практики можно было сказать: жив есмь и жива душа моя! За лезтью, как неизбежное последствие и венец всего — вероломство. Но главное все-таки трепет, трепет и трепет. Это общий извечный враг; это сатанинское исчадие; это «отец лжи», на которого должны быть устремлены все взоры и к истреблению которого должны быть направлены все усилия. Так что, в сущности, и вся эта многоактная трагедия должна носить одно общее название «Трепет».

Вероломство, как я уже сказал выше, составляет последнюю часть этой развратной трилогии. Вступая в область вероломства, мы, так сказать, видим себя в самом сердце трагедии. Тут все трагическое: и вещи и лица. Льстецы — мстители: «баловень фортуны» — жертва. И что всего ужаснее: жертва, не возбуждающая ни малейшей симпатии. Никто не умеет мстить так жестоко, как человек, воспитанный в школе трепета, и никто так бесследно не исчезает, как человек, который пользовался благоприятно сложившимися обстоятельствами, чтоб излить на себя трепет. Это закон, который необходимо помнить. В сущности, и этот закон и причина, его породившая, и последствия, из него вытекающие, — все это до того бесплодно и постыло, что самая мысль, стоящая на этой почве, представляется как бы постыдной. Но делать нечего, надобно в подобных случаях преодолеть себя и неслотря на отвращение сколь возможно чаще напоминать себе об этих постылостях; надо иметь в виду одну цель — необходимость упразднить трепет и преследовать ее без усталы. Потому что в противном случае он иссушит почву истории.

* *
*

Мы, русские, очень часто употребляем такие выражения, которые в благоустроенных странах уже давно вышли из употребления. И не потому там выражения эти не допускаются, чтобы они были грубы и неучтивы, но потому, что понятия, им соответствующие, давным давно исчезли. Так, например, сплошь и рядом случается в нашем домашнем быту слышать: такой-то «выскочил», а следом затем: такой-то «полетел»; или такой-то «пролез», и потом — такой-то «шарахнулся». И это говорится в применении не к грибам или клопам, а в применении к так называемым «баловням фортуны».

В благоустроенных обществах нельзя ни «выскочить», ни «пролезть». Там всякое положение вырабатывается и заслуживается. Человек является на арену публичной деятельности с несомненнейшими правами, и ежели найдется тьма людей, которым не сочувственны руководящие начала его деятельности, то все-таки никому не придет в голову спросить его: откуда ты пришел? Пришел — значит завоевал, заработал свое право притти. Поэтому же там и «шарахнуться» и «полететь» нельзя, а можно только оказываться не на высоте вновь возникших в обществе требований, а вследствие этого быть поставленным в необходимости уступить место другому, более соответствующему этим требованиям. Но ежели нельзя выскочить

и пролезть, то стало быть нет основания для возникновения касты завистников и льстецов; ежели возможно уйти с публичной арены (на время или навсегда) без участия шараханья и летанья, то, значит, нет надобности ни в подсиживаниях, ни в вероломствах, ни в ругательствах, обыкновенно посылаемых вдогонку. Процесс обновления производится спокойно, правильно, без сюрпризов. Самое выражение «баловень фортуны» в благоустроенных обществах имеет совсем иной смысл. А именно, оно означает человека счастливо одаренного природою, но никак не счастливого прохвоста*.

Исключения из этого правила бывают, но редко, и обыкновенно мотивируются очень сложным сцеплением всевозможных горьких недоразумений, в числе которых главное место занимает фаталистическое омрачение общественного сознания, вследствие чего страна временно превращается из благоустроенной в неблагоустроенную. Так, например, о Наполеоне III можно было сказать, что он «пролез» и потом «шарахнулся».

Во всяком случае нельзя похвалить то общество, в котором слова «пролезть» и «шарахнуться» составляют как бы принадлежность обыденного разговорного языка, и в котором понятия, соединенные с этим выражением, являются понятиями нормальными, никого не удивляющими. В подобных обществах и самое выражение «баловень фортуны» становится равносильным выражению «непомнящий родства», хотя громадное большинство и не подозревает этой равносильности. А необходимо, чтоб это было хотя до известной степени понято и усвоено, потому что, в противном случае, скоро сделается совсем неоправданно жить. Я очень хорошо понимаю, что нельзя изгнать из сердец целую систему глубоко укоренившихся привычек и представлений; но ежели из сердец нельзя изгнать, то можно хоть на язык быть воздержнее. Не все урчания встревоженного желудка предъявлять, но некоторые оставлять и для домашнего потребления.

Что такое «непомнящий родства»? Это человек, который на все вопросы о своем далеком и близком прошлом одинаково отвечает: не знаю, не помню.— Где ты родился? — не помню.— Кто твой отец? — не знаю.— Как же ты жил? — где день где ночь, как придется.— Где же ты, наконец, вчерашнюю ночь ночевал? — в стogu**. Явление это первоначально завещано было нам той стариной, которая еще помнила выражение «страна наша велика и обильна», и когда вследствие княжеских усобиц, а потом татарского меча приходилось искать «вольных кормов» на окраинах. В то время еще «вольные кормы» существовали. Потом это же явление усердно поддерживалось крепостным правом. Не знаю, существует ли оно и теперь, но в пору моей молодости оно процветало во всей силе. Я помню еще ребенком, с каким страхом папенька и маменька выслушивали доклад о том, что там-то во ржи заметили «человека», и как принимались меры, чтоб этого «человека» не раздражить, а как-нибудь сопроводить или вероломным образом сцапать. Я помню также великое множество этих людей, оканчивающих свои скитания в острогах, и помню даже, что от них никакой «правды» не добивались, а только производили так называемый формальный сыск. Публиковали во всех губернских ведомостях, с объявлением «примет», подобно тому, как публиковали о пойманных лошадях. И затем, по окончании сыскных сроков — в Сибирь.

Вот именно все это невольно приходит мне на мысль, когда я думаю о наших «баловнях фортуны». Все мне кажется, что если ему предложить

* Сбоку на полях карандашом: «Что такое шарахаться, что такое не помнящий родства». [Ред.]

** Сбоку на полях карандашом: «А ежели он ночевал в стogu, то какие же могут быть у него потребности». [Ред.]

серьезно вопрос: где ты вчерашнюю ночь ночевал? — то он непременно должен ответить: в стогу! Если же он ответит иначе, если скажет, что ночевал в своей квартире, то это будет наглая ложь.

А ежели он ночевал в стогу, ежели он на все вопросы о своем прошлом ничего не может ответить, кроме: где ночь, где день — то какие же могут быть его требования от жизни? У него нет даже смутного представления об отечестве, а следовательно, не может быть и ни малейшего участия к его судьбам. У него нет ни присных, ни друзей, ни единомышленников, а следовательно, не может быть и идеи о каких-либо узах, связующих между собою людей. У него, наконец, нет вчерашнего дня, а следовательно, не может быть и уроков, заветов прошлого. В прошедшем он помнит только стог, в котором его изловили за несколько часов перед тем и вместо того, чтобы погаснуть по всей строгости законов, одели в виссон и посадили под образа. В настоящем ему представляется только пирог, который чудесным образом очутился перед ним. Что же касается до будущего, то и в этом отношении ему доступно только опасение, как бы не лишиться этого пирога. Я говорю: смутное опасение, потому что даже в этом смысле он настолько чужд всего человеческого, что не может себе с ясностью определить, откуда и в какой мере угрожает ему беда.

Поэтому он приходит на сцену деятельности богатый только инстинктами низшего разряда. Он плотояден, напыщен и жесток. Он доверяет лести не потому, чтобы отождествлял ее с правдой (он даже не может отличить правду от лжи), а потому, что она представляется самым естественным *modus vivendi*. Ah vil flatteur! говорит он льстецу и нимало не возмущается этим, потому что в его сознании «льстец» есть нечто вроде должности, которая назначена по штатам, нет резону ей оставаться вакантною. И затем, обеспеченность или необеспеченность «пирога» регулирует все его действия. Ежели он чувствует обладание пирогом обеспеченным — он добр, весел и охотно бросает псам крохи с своего стола. Если он чувствует себя необеспеченным в этом смысле, он суров (нелеп) (?) и жесток. Во всяком случае, он уже забыл, что у него ничего нет назади, кроме стога, и охотно задумывается над какими-то «правами». И чем дальше ему «спускают», тем глубже и глубже укореняется в нем мысль о «правах». И вот тут-то, когда уж он окончательно начинает веровать в свою «звезду» и полный этой веры начинает зевать по сторонам и «плошать» — вдруг из другого стога приходит другой непомнящий и говорит: а не хочешь ли, курицын сын, шарахнуть вниз?

Все это происходит внезапно и, что всего приятнее, без шума, беспрекословно. Возражать нельзя, потому что нечего отстаивать. Если нельзя сказать: я пришел сюда вот затем-то, стало быть, нельзя и спросить: по какому же случаю меня гонят отсюда? И прошел — так, и уходи — так. Пошел вон. Лети стремглав на дно ямы и старайся только об том, чтоб не разбить головы.

Вот тут-то именно и выступает вперед вероломство. Оно никогда не дерзает идти в упор счастью и редко даже принимает участие в интриге. Оно знает, что люди, пришедшие из стогов, подозрительны, жестоки, что они нередко по одному подозрению способны измучить, выгнать жили. Всего этого вероломство боится, и потому, повторяю, не только почти никогда не участвует в интриге против «баловня фортуны», но в большинстве случаев даже предупреждает, ограждает. Но зато задним числом вероломство действует удивительно развязно и смело. Когда не осталось сомнения, что «баловень фортуны» шарахнулся, когда он лежит распростертый у ног нового пойманного в стогу счастливица, а этот счастливчик топчет его — о! тогда вероломство чувствует, что и для него настал момент торжества! Подобно горячей лавине по всем стогам разливается его

ликованье, и горе падшему прохвосту, ежели он не обладает достаточной быстротой ног, чтобы юркнуть в ту пучину, которая навсегда потопила бы его в глубинах своей безвестности. Тут вспомнится все: и вчерашний трепет, и вчерашнее молчание и вчерашняя выпущенная лесть. И за одно уж предвосхитится и завтрашний трепет и завтрашняя лесть. Потому что, растоптавши ногами вчерашнего непомнящего родства, мы тем самым приветствуем сегодняшнего непомнящего родства.

Повторяю: это такого рода жизненный процесс, в котором не за что уцепиться. Ни идеалов, ни поступков — ни на что указать нельзя. Была одна блажь, которая не оставила по себе никакого следа, кроме загадочных восклицаний: откуда? каким образом? за что? Эти же самые восклицания останутся в своей силе и завтра. И завтра они будут заставлять людей метаться и трепетать за право существования, будут мутить их совесть, пугать воображение. Но завтра они будут прикованы к человеку, которому случай дал в руки силу, и который заставит выносить эти вопросы. Зачем же думать о том, что заставляло выносить их вчера? Скорее надо растоптать, раздавить, уничтожить это вчерашнее пугало, чтоб оно не лежало лишним гнетом на душе; скорее надобно отомстить на нем всю горечь прежних обид и унижений, насладиться хоть одним моментом отмщения, чтоб хоть в этот момент сознать, что не все человеческое еще погибло.

Руководствуясь всем изложенным выше, никогда не следует говорить: какой был идол, а как шарахнулся? Потому-то он и шарахнулся, что был идол, и если б он имел хоть каплю человеческого естества, его не постигла бы эта участь.

Идолы — множество, целая, так сказать, иерархия. Карабкаешься, карабкаешься по жизненной лестнице — и всякую ступеньку сторожат идолы. И всякий идол повыше ступенью заводит себе несколько второстепенных идолов, которые обязываются сначала одурять своего принципала лестью, а под конец учинить над ним вероломство. Эта процедура до такой степени неизбежна, что составляет почти обряд. Едва привели идола из стога и посадили под образа, как сейчас же всем делается ясно, что иного резона тут искать нельзя. Что с идиолом не об чем говорить, что не существует той почвы, на которой можно бы заставить его не врасплох и что, стало быть, следует только угробить его и льстить ему.

И льстят. Но так как потребность, заставившая отыскивать в стогу идола, есть потребность эфемерная, так как идол очень скоро выдыхается, надоедает, делается нисколько не забавным, то после непродолжительного торжества является какое-то страстное желание спустить его с лестницы и с течением времени делается настолько настоятельным, что даже самые вероломные личности не могут долго выдержать, чтоб не поддаться искушению. И тогда поднимается общий гам, крик, ликование, вой. Можно себе представить, какую воспитательную школу проходит общество, на глазах у которого так естественно происходит вся эта процедура?

Я уже не говорю о том, как все эти вероломства бесплодны, безнравственны, но, кроме того, они и беспричинны. Стоит ли вероломствовать, стоит ли торжествовать над каким-то выходцем, нечаянно пойманным в стогу? Я понимаю, что торжество человека партии, убеждения, знания, школы, над человеком тоже партии, убеждения, знания и школы, — должно быть лестно. В глазах восторжествовавшего это не просто личная его победа, но победа его дела, не столько плодотворная для него самого, сколько для общества. В такой победе понятно ликование и посторонних. Но ликование по поводу падения непомнящего родства, на смену ко-

торому грядет другой непомнящий родства,— помиуйте! неужто это прилично?

Нет, это в высшей степени неприлично, и даже просто постыдно. Постыдно не только участвовать в ликованиях, но даже быть свидетелем их. Потому что всякий очевидец, который не может протестовать или по малой мере бежать за тридевять земель от этого позорного зрелища, должен сознавать себя рабом.

Больнее, унизительнее этого сознания нет ничего на всем безграничном пространстве нравственного мира...

Я знаю, мне скажут, что я повторяюсь. Что в сущности мои речи суть бесконечные вариации на тему о стыде и рабских поступках. Ну да, это правда, я повторяюсь. Я говорю о стыде, все о стыде, и желал бы напоминать о стыде всечасно. По-моему, это главное. Как скоро в обществе пробужден стыд, так немедленно является потребность действовать и поступать так, чтоб не было стыдно. С первого взгляда этот афоризм кажется достаточно наивным, но он наивен только по форме, а по существу в высшей степени правилен и справедлив. Стыд есть драгоценнейшая способность человека ставить свои поступки в соответствие с требованиями той высшей совести, которая завещана историей человечества. И рабство тогда только исчезнет из сердца человека, когда он почувствует себя охваченным стыдом. Стыдом всего, что ни происходит окрест: и слез, и смеха, и стонов, и ликований. Ни к чему нельзя прикоснуться, ни о чем не мыслить без краски стыда.

Вот почему я повторяюсь и буду повторяться. Хотелось бы, чтоб чувство стыда перешло из области утопии в действительность. Быть может, я никогда ничего не достигну в этом смысле, но ведь, по справедливости говоря, когда человек мыслит так или иначе, он очень редко имеет в виду, что из этого непременно должен выйти практический результат. Он просто мыслит так, потому, что иначе мыслить не может.

Постыдные явления, о которых я повел свою речь, сделались у нас так обыкновенны, что мы даже не оборачиваемся на них. Мы льстим идолу выскочившему и накладываем в шею идолу шарахнувшемуся почти бессознательно, совершая как бы обряд. Мы даже не хотим думать, что нуль равен нулю, и в оправдание свое ссылаемся только на нашу подневольность. Но это неправда. И у подневольности есть выход—это стоять в стороне, не льстить, но и не «накладывать», не петь дифирамбов, но и не кричать в догонку: ату его! ату! И у подневольности есть оружие: она имеет возможность презирать.

Повторяю: напоминать о стыде не только полезно, но всего более в настоящее время нужно. Стыд—это своего рода учение, это целая система; разница только в том, что в учении могут быть замечены разного рода внезапности, которые могут дать ретирадникам повод для подсиживаний, а в стыде никаких так называемых превратных толкований и днем с огнем отыскать нельзя. Вывать к стыду, будить стыд, пропагандировать, что лезть вредно, а вероломство паскудно—помиуйте! что же тут «превратного»?